

мятуем, что большевизм — только часть революции, а мы ищем идейно-эмоциональной близости с целым и продуманно-сознательной и самостоятельной позиции, ибо, повторяем, среди идейного распутия и хаоса пришла пора кристаллизации новых отправных пунктов, предпосылок пореволюционного мирозерцания интеллигенции.

Не политические программы и не тезисы практического действия ищем мы (это дело будущего и, быть может, далекого), а лишь новые социально-этические русла.

«Смена вех» слишком оторвалась от России; от ее неприкрашенной действительности, ее живых нужд и запросов, слишком замкнулась в скорлупу эмигрантщины. «Смена вех» замкнулась и во вторую скорлупу узкого и непосредственного политического действия, и тем наложила на себя крайнюю практическую ответственность, оставаясь идеологически на позициях отчасти устарелых, отчасти взаимно противоречивых, а потому и безответственных.

При всем том «Смена вех» несомненно сыграла исключительную роль в отрезвлении эмиграции. Для Парижа и Праги они — несомненные глубокие российские почвенники, хотя бы уж самым фактом терпимости к современной России, что знаменует политику открытых глаз. «Смена вех» сыграла свою роль и в России, выведя из состояния политического анабиоза наиболее консервативных, упрямых и тупых.

Революционно-бодрствующий и возбуждающий лозунг пересмотра и переоценки, брошенный в косную интеллигентскую среду, родил несомненно живой отклик. И это, по справедливости, надо занести в актив. «Смены вех», независимо от пассивных статей.

## **Дни нашей жизни**

<Фрагменты>

### **I**

Русский дух всегда — в необъятности целей.

«Никто необъятного обнять не может», — это — саркастическая улыбка русского духа над самим собою.

Русский империализм (от океана до океана), русское мессианство (с Востока свет), русский большевизм («во всемирном масштабе»), — все это величины одного и того же измерения. Но... «никто необъ-

ятного обнять не может». И тут уже сказывается наша слабость, разыгрывается драма русской души... Трагедия Раскольникова — самая тяжкая русская трагедия. Вначале обуревают *mania grandiosa*... «Все позволено»... Наполеон... А потом волевая спираль не выдерживает, лопаются... Грустная растерянность, приниженность...

Наша сила и вместе наша слабость — в постановке универсальных задач, в устремлении к окончательному и абсолютному. Это — типичная черта религиозного сознания. Религиозное сознание пролагает себе путь к широким массам, ибо для воплощения своего требует «соборного действия», создает свой церковный жаргон, свои хоругви. Высшую идею свою упрощает, вульгаризирует, сводит к двум противоположным силам — добру и злу: Ормузду и Ариману. По одну сторону умиленное и благостное «во имя»; по другую — воинственная ненависть. Сегодня зло заостряется на татарине, жиде, германском империализме (особо и исключительно германском), завтра — буржуе. Сегодня засучивай рукава во имя православия и народности, завтра — во имя прогресса, братушек, малых национальностей, но обязательно засучивай и бей в кровь.

Помню, в начале 18-го года я в Москве посещал заседания всероссийского церковного собора и слышал приснопамятного о. Востокова, который в иносказательной речи призывал к всероссийскому крестному ходу во имя свержения «ига израильского племени». Речь христианского пастыря была вдохновенной, и, как повторный refrain, в ней звучало: «Все великое строится на крови»!..

В русской жизни как бы установился неписанный ритуал: неохватная вселенская задача, религиозная идеология, вульгаризирующая демагогия, засученные рукава и... кровь... Кровь и чужая и своя... Жертвенная, пламенная, религиозная. Потом трагическое — «с неба — в лужу» и саркастическое — «никто необъятного обнять не может».

Боже, до чего повторяется это в нашей жизни!..

\* \* \*

Теперь, задним числом, может быть, многие отрекаются от идейного участия в русско-германской войне, отыгрываются на митинговых словечках о «преступной империалистической бойне, затеянной царизмом, но мы хорошо помним, что война эта была воспринята всей русской общественностью, как самое важное национальное дело; вся интеллигенция была за войну. Потом судили ген. Сухомлинова<sup>1</sup>

за то, что он легкомысленно и безответственно возгласил: «мы готовы!»! Но возглашали и другие, начиная от Родзянко («Государь, держай!») и кончая Плехановым и Кропоткиным. Монархист, октябрист, социалист и анархист объединились на одном, — на необходимости войны.

...Были страстотерпцы, серые герои, Карпаты, Перемышль. И качнулся маятник обратно: Перемышль — Брест.

Не под силу была мировая война России при ее хозяйственном, — техническом, культурном и правовом состоянии. Ибо последняя война была меньше всего состязанием армий, или, как это думал Гинденбург, нервов. Уж на что русская армия многочисленна и боеспособна была, уж на что германские нервы были сильны!

А потом судили ген. Сухомлинова, будто тем лишь мы к войне были не готовы, что имели мало ружей и, патронов.

Готовиться к войне мы должны были долгие десятилетия, и готовиться гораздо больше в области промышленности, путей сообщения, финансов, народного просвещения и государственного устройства, но именно в этом отношении мы не были готовы, и это мог и должен был знать Родзянко не хуже Сухомлинова, и Милюков не хуже Родзянко.

Правда, мы имели колоссальные людские резервы, но эти резервы имела и Индия, и черная Африка. Трагизм нашего участия в мировой войне заключался в том, что мы были *сипаями* этой войны, что мы умели для нее поставлять лишь «сырье» и нуждались в технических средствах и фабрикатах, т. е. еще задолго до развязки, даже в самый разгар побед, были, в сущности, не воюющей державой, а воюющей *колонией*.

Будучи по техническим ресурсам своим и по экономическому состоянию колониальным звеном мировой цепи войны, мы претендовали на исключительную, на первую роль. И в этом несоответствии, в этом противоречии возможностей и притязаний был роковой для нас изъян.

Непосредственным разрешением кризиса была революция. Но общественность наша не познала и не признала истинной природы революции. Кризис углублялся и заострялся, и к концу 17-го года мы должны были выйти из игры. Могучему потоку пытались ставить плотины морализирующих слов о недопустимости сепаратного мира, измены союзниками пр., и пр. Но пришел час расплаты за неподготовленность, и плотина была проткнута, как гнилая солома.

Суд над Сухомлиновым был придиричливой расправой над стрелочником. Суд в Бресте был судом подлинным над русской государ-

ственностью и общественностью. Суд за грех максимализма. Суд над Раскольниковым, возмечтавшим о роли Наполеона, рассчитавшим в своем преступлении все, кроме самого себя и своей неподготовленности; суд за ребяческую и наивную веру в антантовских друзей, в миссию войны — освободить «малых сих», в нашу миссию в войне — «в бездну повалить тяготеющий над царствами кумир».

\* \* \*

По иронии судьбы, ответ держали в Бресте за недомыслие и непосильные притязания, не агитаторы войны, а агитаторы мира. Но опять агитаторы, пришедшие с новой идеологией, с новой религией, с проповедью новой миссии, новых неохватных и вселенских устремлений. Место обиженных и униженных наций заняли обиженные и униженные классы.

И как это характерно для русского национального самосознания!

«Русь, — писал В. В. Розанов в своих посмертных записках (“Апокалипсис нашего времени”), — слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась, до-подробностей, до частностей»... И в другой главе: «Переход в социализм и, значит, в полный атеизм, совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой. Это — совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар».

Остро наблюден у Розанова этот перелом, но ложно воспринят. Слишком удален был Розанов от социалистической идеологии и слишком оторван от совершавших перелом народных масс. Социализм равнозначущ атеизму лишь в узко богословском толковании. А эмоционально, по психологическому устремлению своему социализм крайне религиозен! И в этом вся сущность, «весь гвоздь» вопроса.

Стихийно-религиозное народное самосознание совершило переход не к атеизму, не к отрицанию, а именно к действительному и пламенному утверждению религии. Одну сменила другою.

Под «огненной завесой», этой новой идеологии было легче выйти из проигранной — войны. В психологическом отношении (отнюдь, конечно, не по реально-историческому своему содержанию) революция была фиговым листком нашего поражения.

По первому впечатлению то же было и в Германии. Здоровый психический организм народа и там не хотел неприкрытого национального

отчаяния. Вместо траурных нарядов Берлин расцвечился красными флагами. Но до вершин религиозного экстаза революции не подняли, новой миссии на себя не возложили, пангерманизм — «панкоммунизмом» не заместили, хотя экономически для коммунизма созрели уж, конечно, больше нашего.

«Обнять необъятное», по обыкновению, взялась Россия. Взялась с религиозным порывом, тысячью нитей переплела свою национальную судьбу с судьбой нового грядущего обетования.

И вот уж скоро пять лет как она жаждет нового часа искупления, нового явления чуда — мировой социальной революции. Для этой цели положено много сил, на этот жертвенник пролита героическая, а потому — священная кровь. Но революции все нет. Мы пристально смотрим на Запад, мы высмотрели глаза, но чудо не явлено.

<...>

Мы видели, как революция в чужой стране (в Венгрии, отчасти — Германии) довольно неопределенное время требует нашей помощи, продовольственной, вооруженной...

Мировая революция — это осуществление конечных целей великой русской революции, претворение в реальность давнишних идеалов демократической общественности, лучшее «вложение капитала» для страны революционной. Но вот беда, — всякий капитал у нас иссяк, и нечего вкладывать в предприятие, какие бы выгоды, духовные и материальные, оно в будущем ни сулило. Сейчас, в данную минуту, мы слишком бедны и нищи, чтобы так счастливо разбогатеть.

Не о величавом и торжественном апофеозе революции можем и должны мы нынче думать, а о простейшем физическом бытии страны, отдавшей уже делу международной революции сотни тысяч лучших жизней, обескровленной и опустошенной, дошедшей до травоядения и людоедства, — сегодня, сейчас, сию минуту не способной завершить дело революции, как в 1917 году не способна была, после миллионных кровавых жертв, завершить дело войны?

\* \* \*

На нашей спине и на наших костях победил антантовский империализм. На наших костях победит в свое время и международный коммунизм.

Плодами первой победы нам воспользоваться не удалось, удастся ли вкусить из плодов второй?

Россию в войне заменила Америка. В бой она вступила последней и жертв понесла менее всего. Зато и выиграла более всех. За годы революции Америка заменила Россию и экономически. Теперь она стала житницей Европы.

И вот ныне совершается суд. За наш героизм, за нашу жертвенность судят нас в Генуе. Судят бывшие союзники. И за все лишения и жертвы начтут сложные проценты новых лишений, придравшись к тому, что Россия стала советской. А Америка, пожиная на мировой арене плоды наших жертв, в Геную даже не соизволяет... Разбогатев на мировом рынке потому, что мы оскудели, она бросает нам мелкую и медную монету «Аръвской»<sup>2</sup> благотворительности от щедрот своих.

<...>

От международной войны перешли к международной революции.

Опять ухватились за необъятное и непосильное. Красная волна докатилась уже и до Перемышля и до Будапешта. И теперь опять откатывается до Нэп'а Генуэзского.

Мы — великие зачинатели. Мы — мощное бродило в мировом социальном котле. Мы ставили и ставим мировые неохватные задания. В этом наше величие, но в этом же наша слабость, ибо норовим, «лечь перегномом», прорваться прямым лобовым ударом, полагаясь на одну свою бездумную жертвенность и религиозный порыв.

Искони русская драма дошла в наши дни до своего апогея. Величие достигнуто слабостью и немощью у самой последней грани. Провозвестник бунта против мирового капитализма, искалеченный и измятый, распухший от голода и холода, завшивевший в сыпняке, сгнивающий от цынги, павший до человекопожирательства, — он стал ныне побираться по миру, христарадничает и стучится в неприветную дверь того же капитализма. Во имя чего? Во имя спасения живота своего.

Кто это сказал, что на распутье — интеллигенция? На распутье сама Россия и именно новая Россия, духовно несоразмерно богатая, материально непомерно нищая.

## II

Не торопитесь со скороспелыми попреками в интеллигентской немощи, безволии и прострации. Не для того подвел я к самой пучине отчаяния, чтобы сеять панику и слабодушие. Есть грех горший, чем слабодушие — прекраснодушие. Он слепит глаза, темнит рассудок. Так пусть же будет у нас полная ясность, как бы неприглядны ни были

порой ее показания. Только она может осмыслить наш дальнейший путь и ответить на волнующее: «где мы и что мы»?

Позади остались великие годы, великие притязания и дерзания, великий максимализм утопий. Они уже вошли в историю, вдвинулись в нее, как хорошо прилаженные ящики доброго «довоенного» шкафа. Поэзия — кружевница легенд — уже облюбовывает вдохновенную тему российской революции. Но не будем смешивать восприятия поэтического с оценкой политической, сегодняшний день — со вчерашним. С восторженно религиозных эмпирей спустимся к грузному эмпиризму действительности. Ибо после медовых лет начинаются будничные десятилетия, разливается терпкий вкус пореволюционного времени.

Россия оказалась на перепутье — богатая и нищая, в ореоле величия, с печатью изнеможения. И явились перед ней только две возможности: принять бескомпромиссную смерть во имя неохватного или оппортунистическую жизнь во имя реальных достижений.

Россия — не в конце своего исторического пути, — далека еще и до зенита; она лишь накануне цветения, — и по здоровому инстинкту жизни избрала второй путь. Анемично красивому жесту Голгофы предпочла пьянящий кубок жизни. От самоубийства отпрянула, пришла к самоограничению. Станем ли осуждать ее за это?

Самоубийство — безнадежно; самоограничение оставляет надежду на будущее и неизрасходованные запасы революционной энергии обращает на преодоление национальной нищеты и разрухи сегодняшнего дня.

Новая Россия нуждается в долгосрочном кредите. Она затеяла электрофикацию — требует срока; мелиорацию — требует срока; международную социальную революцию — тоже требует срока. Брошены семена революции на плодотворную почву европейского разложения, и они дадут свои всходы. Но мучительная сложность положения именно в том и заключается, что все это придет когда-то, а жить надо уже сегодня и завтра.

Жить сегодняшним днем — значит признать его самодовлеющую ценность, значит отказаться от маниакальной и убийственной мысли, что он лишь — *средство* для какой-то высшей, потусторонней *цели*; отказаться от его *служебной* роли. Право же, признание советским правительством сегодняшнего дня *de jure* и *de facto* — не менее знаменательное событие, чем международное признание самого советского правительства.

Революция, тем паче такая, какова она была у нас, — явление слишком крупно исторического порядка, разрешает задачи, уготован-

ные слишком долгим прошлым, устремляется к слишком заповедным далям, чтоб отражать сегодняшней день и считаться с его докучными и назойливыми для нее нуждами. Отвращая свой лик от черного прошлого, зачарованно устремляясь в будущее, революция не видит ран на ногах, не примечает бледной худобы истощения, стесненного без свободы дыхания. Таков ее дальтонизм. Всякий гений односторонен, и к известного порядка мыслям, идеям, словам — глух, слеп и нем. Может ли быть действенный гений революции иным?

Революция — это стремительный, динамический мост от далекого прошлого к далекому будущему, а сегодняшней день со всей целокупностью его богатств, с живыми людьми, с накопленным запасом навыков, знаний, культуры — лишь *строительный материал*, мертвые бревна для этого иррационального исторического моста. Для революции сегодняшней день, со всем, что он в своих скобках заключает, — величина количественного, а не качественного измерения: энное количество бойцов, едоков, инвентаря.

Весь трагизм нашего поколения в том и заключается, что оно было дважды строительным материалом, дважды — лишь средством, а не целью, не самоцелью. Но пришло время, — и в сознании современника идет обратный процесс: он готов настаивать на абсолютной ценности того, чему революция не придавала абсолютно никакой ценности.

— Верую в Царствие Небесное, — восклицает он, — но сегодня хочу царствия земного. Приемлю мировую революцию, но хочу сытости сейчас же, «еретической» буржуазной сытости. Хочу мирного обывательского доможития. Довольно состояли в Чайльд-Гарольдах!..

Это «пораженческое» настроение одинаково сильно по обе стороны баррикады.

Злая гримаса наших дней — в том, что сейчас, — таковы, каковы мы есть, мы одинаково истощены для всякого максимализма — и белого, и красного.

В данный момент для всех россиян, — «старо-российцев», как и «ново-российцев», есть только один исход: приняв наследие революции, на созданной ею почве отстраиваться, выздоравливать, действительно проявить волю к бытию и силе.

Выздоровливающий никогда не бывает героем; в лучшем случае, он — *бывший* герой.

И начав жить в реальной атмосфере сегодняшней дня, не как унылые тени потустороннего царства, а как живые люди, как органическая часть порожденной нами и породившей нас революции, приобщившись ее духа, мы с изумлением обнаружим, что сегодня

няшний, день, безо всякой нарочитости и насильственности, естественным самотёком своим служит преображенному грядущему: национально-хозяйственное строительство России будет вернейшим путем способствовать осуществлению высших интернациональных идеалов человечества.

Ибо весь мир делает сейчас мучительное напряжение, чтобы сбросить с себя ветхого Адама, окраситься по иному национально, переродиться социально, воспрянуть культурно и духовно. На скудную иссохшую землю обильно пролилась кровь. Но преобразования жизни все нет, нет даже для победителей.

И вот, в сущности, в самом разгаре ратных трудов, среди начавшейся и не законченной серии национальных войн, среди начавшейся и не завершённой серии социальных революций — мир с напряжением следит за Россией и ее судьбами.

Усталое, здоровое и трезвое европейское человечество ждет от опыта нашей революции не романтического величия, а реальных достижений. Жизнеупорна ли революция или всем ее великим завоеваниям грозит быть похороненными и гранитной плитой придавленными? Вот вопрос, который волнует Запад, который стоит перед нами без ласкающего глаз романтического оперения, будничная, терпкая горечь которого разлита в наших днях.

Ответ нужен здесь. Выход из коллизии великого и смешного только на этих путях. С неизвестной в прошлом методичностью, постоянством и упорством мы должны разрешить задачу национально-хозяйственного строительства; этим вернее всего сохраним завоевания революции, надежней всего приблизимся к общечеловеческим обетованиям. Да, именно «завоевания революции»! Эти слова не могут быть опошлены, как бы часто ни повторялись, как не может наскучить каждодневный хлеб.

\* \* \*

<...>

«Тактика» России должна быть по времени. И в период залечивания никак не может быть хирургической. Период залечивания, в который мы сейчас вступили, поляризует крайности, стирает острые углы противоположностей.

Наш путь не устремляется непосредственно в дерзновенные исторические дали, а, значит, при нынешних объективных условиях — в пучину. Он не змеится в панике к прошлому, к реставрации.

Он идет вглубь, в самую землю, в защитные окопы. *Не революция и не реакция, а революционный консерватизм.*

Лозунг консерватизма, хотя бы и революционного, звучит в нашей публицистике как-то вопреки «традициям». Но кто же не знает, что мягкий халат и туфли интеллигентской традиции давно стащил один из двенадцати Блоковских героев, — содрал прямо со спины. Сгорели в огне революции халат и туфли романовской интеллигентской традиции. А те старые дятлы, которые теперь выстукивают дореволюционную прогрессивно-либеральную дробь, давно уже перестали быть и прогрессистами и либералами. Они стали просто реакционерами, в современной обстановке состоят «вридзам'ами» Маркова II, хоть и не всегда отчетливо это сознают и никогда не признаются.

И все-таки, — реакционеры были; консерватизма на Руси не было. Консервативное умонастроение — несомненный продукт революции. Горечь утрат нас делает более ревнивыми к тому, что мы имеем, к тому малому, но жизненно ценному, что мы сохранили от прошлого, и — одновременно — к тем дарам нового, которые куплены такой дорогой и тяжелой ценой, к положительному наследию революции, к революционным завоеваниям.

\* \* \*

Рожденный в утробе революции консерватизм внутренне противоборствует тому духу непоседливости, который мотал нас с одного фронта на другой, — с продовольственного на топливный, с топливного — на транспортный, с транспортного — на санитарный, из города и город, с этаж на этаж, из квартир в квартиру. В пьяной лихорадке в горячечной суете, «на холостом шкиву», вертелась эта вздорная карусель перманентной реорганизации.

Реорганизация убивала организацию, подрывала самую возможность правильной творчески-строительной работы, споспешествовала всеобщему дилетантизму и верхоглядству, плодила самоувереннонаглых и лживых всезнаек, которые с умненькой одесской бойкостью и панельной развязностью брались за любое дело. Сегодня он — советский исправник, завтра — начхоз, еще через день — ремонтирует холодильники, а там зачислился уже в Главспичку. Не правда ли, совсем, как Петр:

То академик, то герой,  
То мореплаватель, то плотник.

Вершилась великая революционная реорганизация, коренная перестройка государственных и бытовых условий жизни, и ей вослед, бессменным докучливым спутником, как уродливо пляшущая тень на стене, катился, приседал, подпрыгивал поганый бес суеты, непоседливый дух перестановок и мелочно-карикатурных реорганизаций.

Думаю, что так же тяготились в свое время кочевьем древние племена при переходе к постоянному оседлому земледелию.

После революционного кочевья мы чувствуем себя крепкими земле хлебопашцами. После зыбкости, неустойчивости, неуверенности вчерашнего дня — мы стремимся к твердой и надежной почве под ногами. Мы пришли на новые места, утучненные навозным перегноем прошлого, и здесь хотим оседлости, дифференциации труда и опыта, знаний и воззрений.

Это не значит, что мы считаем сегодняшний политический день идеальным и возглашаем оцепенение *status quo*, «умри, мгновение!» Мы полагаем только, что сегодняшний день можно и должно принять за *исходный пункт* равномерного творческого развития и подъема. Всякий иной путь был бы несоразмерен нашим нынешним силам, уносил бы либо в утопическую даль, к изжитым иллюзиям, либо круто поворачивал к Врангелю, к Рейхенгаллю, к вчерашним убийцам В. Д. Набокова.

Напрасно пытались нас загипнотизировать справа и слева, эмигрантская и коммунистическая печать, митинговыми словами о двух единственно возможных путях и об исключенном третьем. Мы верим, видим, знаем, что современная Россия выходит из революции в новых, с каждым днем крепнущих настроениях здорового консерватизма охраняющего благодетельные завоевания, критически отмечающего бесплодную шелуху, усваивающего социально-питательные элементы пережитого.

Консерватизм этот не есть догма, твердо застывший религиозно-обрядовый устав. Он определяется скорей, как регулятивная идея, как направление воли и сознания, как действенная тенденция. То, что настроения эти с каждым днем упрочиваются и в деревне и в городе, не видят лишь слепые или безнадежно отравленные нетерпимостью ворчливые старухи обоего пола.

А если иным взыскательным критикам покажется несовместимым, внутренне-противоречивым и «беспочвенным» объединение в одной концепции социальной революции (вне России) с «мелкобуржуазным» доможитием и строительством (внутри России); дальнебойного исторического Завтра с краткострельным Сегодня, — то новая Россия в кавычках и без кавычек возразит на это кратко и упрямо:

— Наша почвенность не логическая, а биологическая!..

\* \* \*

Чтобы перейти от кочевья к оседлости, чтобы прочно зацепиться за землю и на новом месте начать муравьиную, а в коллективной сумме — циклопическую работу земельной культуры, древний хлебопашец искал реку, лес, плодоносный участок. Это были первые, естественноприродные координаты, на которые ориентировался бывший кочевник и в направлении которых разворачивал свою молодую зиждательную энергию.

И сейчас, при переходе в новую полосу российского хозяйственного государственного бытия, мы, подобно праотцам нашим, первым зачинателям хлебопашества, ищем эти определяющие координаты строительства. Пытливо и вдумчиво мы вглядываемся в расплывчатый лик наших дней, и схватываем четыре черты, как бы четыре измерения современности: *самоограничение* революции, *самопреодоление* коммунизма, хозяйственно бытовое *самоопределение* народа и идейно-общественное *самоопределение* интеллигенции.

Вот четыре узловых отправных пункта. Между ними должны лечь соединительные тропы и разграничительные межи. Эти тропы и эти межи, в совокупности своей, и обозначат *консолидацию внутренних сил страны*.

Необходимость такой консолидации диктуется отнюдь не политическим благодушием, как не может быть предотвращена и политическим озлоблением. Частные симпатии и антипатии здесь не при чем. Здесь несомненно звучит стихийное повеление истории, которая имеет свою надволеую логику. После войны, а стало быть, массовых смертей, увеличивается рождаемость. Точно также — после разрыва в вихре революции соединительных тканей народно-хозяйственного и: социального организма, увеличивается сила сцепления, тяга к новым повторным органическим соединениям, на сей раз — освеженным и более крепким. Никаким колдовством и заклинаниями этого процесса не остановить. Наоборот, ему нужно всемерно содействовать. Консолидация новых и старых сил страны для нас — не только холодное умопостижение, но и насыщенное творческим запалом устремление.

Консервировать — значит сохранять. А чтобы сохранить, надо привести в соответствие с жизненными запросами, эластичными пальцами ваять революционный воск по контурам современности.

Мы видим, как страх отстать от колеса жизни, от стихийно вертящихся жерновов пореволюционной современности, как опасение

«отрыва» побуждают коммунистическую власть искать связей с деревней с одной стороны и с квалифицированными работниками науки, техники и культуры — с другой. Чтоб избежать этого отрыва, коммунистическая идеология вынуждена была осознать необходимость самоограничения революции и самопреодоления коммунизма.

Но осуществление консолидации знаменует и другое: *превращение вчерашних объектов государственного строительства — в субъектов*. Идущие навстречу зову консолидации новые силы в продвижении своем попутно и выявляют себя, повинуются не только слепому закону сцепления, но и закону сознательной дифференциации. Крестьянство ищет нового хозяйственно бытового самоопределения; интеллигенция самоопределения идейно-общественного.

Наряду с консолидацией внутренних сил идет консолидация внешних сил: интернационально-революционных и национально-государственных. Консолидация внешних сил революции достигается так называемым единым рабочим фронтом. Консолидация России с внешним миром — включением в международную систему государств и экономическим согласованием интересов Европы.

Последний съезд коммунистической партии, съезд трех интернационалов и конференция в Генуе — это три угла одного и того же треугольника, это три точки приложения одной и той же силы, три формы одного и того же процесса, имя которому — консолидация.

Именно консолидация внутренних и внешних сил России есть зов современности, предуготованное русло жизненного потока. Полноводно вступить в это русло — очередная наша тактическая задача. Без этого — неотвратимый провал.

Сегодняшний день требует жизненного согласования всех сил, и старых и новых, строящих здание грядущего. Над построением новой России (и только в эту меру) должны объединиться Кремль и Сиги. Для построения новой России (в полной и совершенной мере) должна интеллигенция вернуться в лоно народа, на этот раз не на поводу кисло-сладких «заветов» революции, а на почве ее великих и реальных поучений. В этом — главное достижение; к этому — главное устремление.

